

Олег ГУБАРЬ ОДЕССКИЙ ПРИЯТЕЛЬ ПУШКИНА ПО ИМЕНИ САМУИЛ

(ЭТОТ ТЕКСТ НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В 1-Й ТОМ "ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЗАБЫТЫХ ОДЕССИТОВ")

Если хорошенько ознакомиться с реестром одесского окружения Пушкина, тотчас бросается в глаза тот факт, что эта как бы случайная выборка имен корректно репрезентует тогдашний этнический и до известной степени — социальный состав горожан. В самом деле, представители российского нобилитета — Воронцовы, Нарышкины, Киселевы, Бутурлин и т. д.; польская шляхта — Потоцкие, Собанские, Понятовский и пр.; остзейские дворяне — Брунов, Франк; французская аристократия — Ланжерон, Сен-При, Гамба и др.; этнически пестрый чиновничий мир — от Палена, Бера, Зонтага и до Писаренко; образованные негодяи — Ризнич, Рено, Сикар, Монтандон; представители сферы обслуживания — Отон, Пфейфер, Коллен и т. д.; а также — солисты и солистки итальянской оперы, "погибшие, но милые создания" и прочие экзотические знакомства, вплоть до "корсара в отставке Морали".

Помимо представителей всех стран Средиземноморья (что типично для любого левантийского порта), мы видим, например, раритетных в этом регионе англичан, голландцев, и даже одного американца. Странно, может заметить кто-нибудь, что нет в этом списке ни одного еврея. И тем более странно, что численность еврейского населения в 1820-е годы была довольно значительной. Вероятно, прибавят, это еще одна иллюстрация характерной для Пушкина неприязни.

Согласиться с такой трактовкой едва ли справедливо, ибо интерпретаторы, как обычно, переносят современную психологию в отдаленное прошлое. Сложившееся же в российской аристократической среде неприязненное отношение к евреям (мы говорим о самых первых десятилетиях позапрошлого века) — следствие специфической социальной разобщенности. Нобилитету просто-напросто фактически и не приходилось общаться с евреями, ограниченными в правах, в том числе — в праве проживания на той или иной территории. В обеих столицах практически отсутствовало образованное еврейство, и общее впечатление о национальных особенностях евреев складывалось чудовищно гипертрофированное, необъективное, что было неизбежно.

Юг России представлял совершенно иную этническую картину. Оказавшись здесь и непредвзято оценив ситуацию, даже иные заядлые национал-патриоты в корне пересматривали свои позиции. И в этом смысле очень характерна эволюция подобных воззрений долго проживавшей в Одессе (в начале 1830-х годов) литераторши К.А. Авдеевой. "Да позволено будет мне сказать свое мнение об евреях, — пишет она. — Вообще мы привыкли почитать их самыми дурными людьми. Живши два года в Одессе, нельзя было не иметь с ними сношений, и скажу откровенно, я всегда оставалась ими довольна. Правда, что еврей не упустит из вида своей выгоды, но кто же ее и упускает? Зато какая неутомимость, какое проворство у еврея! И если он уверен, что заслуга его не пропадет даром, он все выполнит вам с возможной точностью, и надобно прибавить, ЧЕСТНО".

Вторит ей и писатель М.Б. Чистяков (какого уж никак не заподозришь в апологетике еврейства), посетивший Одессу на завершающей стадии эпохи порто-франко, в 1850-х. В сборнике путевых заметок "Из поездок по России", изданном в Санкт-Петербурге, он, в частности, повествует об очень высоких заработках наемных рабочих Южной Пальмиры — сравнительно с доходами их коллег в других местностях империи. И прибавляет: "Из этого хорошего жалования, однако ж, редко который скапливает себе что-нибудь; по большей части все идет на водку и на пирушки. Не только русские мастера, но и немцы и другие иностранцы очень скоро спиваются с кругу. Евреи со-

ставляют блистательное исключение; между ними находят лучших работников, самых смысленных, ловких и трезвых, поэтому во многих случаях еврея предпочитают русским и немцам".

Короче говоря, Одесса позитивно трансформировала опыт (которого реально-то у россиян почти и не было!) межнационального общения, способствовала, так сказать, смягчению консервативных нравов патриархального дворянства. Здесь уместно сказать и об эволюции собственно пушкинского мировоззрения на одесском эмпирическом материале. Я имею в виду его маршрут к коммерциализации литературного труда. Да, "приморская Гоморра" располагала к некоторому прагматизму, навевала мысль о том, что литературная продукция — такой же товар, как и иной прочий. А главное, внушала, что самый процесс подобной покупки-продажи отнюдь не аморален, а напротив, — вполне достойное дело.

Вспомним еще, что наиболее приемлемым кругом общения для Пушкина служил как раз круг просвещенных негодяев. Если учесть, что бродские евреи (выходцы из города Броды и вообще из Австрии) играли в Одессе чрезвычайно значимую роль еще со времен "континентальной блокады" конца 1800-х, становится очевидным, что и они внесли свою лепту в формирование "коммерческого характера" ссыльного диссидента. И в этих условиях он просто не мог не переменить своего отношения к дотолем презираемым "факторам", — поскольку и сам "давал в рост" свой поэтический капитал и получал соответствующие дивиденды. Да, можно (и нужно!) рукопись продать. А чтобы логика подобных размышлений не показалась притянутой за уши, я и хочу лаконично рассказать об одном показательном одесском знакомстве Пушкина.

Речь пойдет об австрийском консуле фон Томе. Сведения по этому примечательному персонажу местных летописей всегда были довольно скудными и перекоцывались из одного издания в другое. Со времен издания "Одесского словаря пушкинских знакомых" знаменитого впоследствии литературоведа М.П. Алексеева (1927 год) решительно ничего нового о фон Томе не написано. В "Словаре" же препарировано большинство имевшихся тогда в наличии библиографических первоисточников, включая мемуары Рошешуара, Лагарда, Липранди, Бутурлина и проч. Суммарно же складывается впечатление, будто фон Том — венгр, сын губернатора одной из австрийских провинций на границе с Турцией, что он служил австрийским консулом в Одессе "уже в 1804 г. и еще в 1833 г.". Информация эта, как мы увидим ниже, действительности не соответствует.

Вместе с тем, современники вполне живо и, судя по всему, объективно рисуют портрет этого замечательного одесского старожила — ближайшего сподвижника Ришелье, Кобле, Ланжерона. Большой охотник до веселых розыгрышей (как теперь сказали бы, "приколов"), фирменных анекдотов, каламбуров, эпиграмм, подлинный эпикуреец, фон Том нисколько себе славу души компании, заводилы, тамады. Оставаясь таким до самой своей кончины, австрийский консул обожал принимать в своем доме друзей и сам бывал неизменным участником всех светских раутов, застолий, маскарадов, балов, домашних спектаклей и прочих увеселений. Оптимизм его простирался так далеко, что в дни свирепой чумной эпидемии 1811-1812 годов он, по свидетельству Лагарда, первым в городе отворил двери своего дома для гостей, "по-философски решив умереть лучше от чумы, нежели от скуки".

Салонное времяпрепровождение ришельевской эпохи описано А.А. Скальковским на примере журфикса в доме одного из одесских негодяев (надо полагать, у Шарля Сикара). Присутствовали Ришелье, Кобле, Рошешуар, Растиньяк, фон Том, известный банкир барон Штиглиц и другие обитатели провинциального олимпа. Кавалеров, разумеется, сопровождали дамы света — Аркудинская, Коб-

ле, Кастилио (в девичестве — Бларамберг), Трегубова-первая, Трегубова-вторая и др. Основная забава вечера заключалась в составлении весьма смелых эпиграмм друг на друга, и среди присутствующих, конечно, не было равных австрийскому консулу, чувствовавшему себя как рыба в воде.

На подобных посиделках и рождались искристые "фон-томовские" каламбуры, остроты, притчи, веселившие потом весь город и даже достигавшие обеих столиц. Характерный пример сказанному приводит занимавшийся в Одессе устройством новой черты порто-франко граф А.И. Рибопьер (1781-1865). В своих мемуарах граф так описывает реакцию фон Тома на адюльтер генеральши Лехнер и барона Брунова — будущего российского посланника в Лондоне, также пушкинского знакомого. У госпожи Лехнер был "дурной шведский выговор", и в ее устах фамилия барона звучала как "Пруноу", то есть "чернослив". Имея в виду означенное обстоятельство, австрийский консул провозгласил юмористическую проповедь: будущая баронесса, резюмировал он, читала Библию и знает, что яблоко было плодом запретным, но, видимо, не распознала, что чернослив (пруноу) — плод тоже недоделанный.

Более известна другая история, а именно та, что связана с самими обстоятельствами личного знакомства фон Тома и Пушкина. Как вспоминает И.П. Липранди, Пушкин, по своему обыкновению, посетил очередной званый обед у четы Сикаров, где всегда поддерживалась на редкость непринужденная обстановка, дозволялись и даже поощрялись всевозможные выходы — разумеется, в рамках светских приличий. Здесь обсуждали любые новости, включая изменение цен на зерно и альковные похождения солисток итальянской оперы, положение единоверцев на Балканах и модные туалеты, с одинаковым любопытством принимали как серьезную проблему, так и свежую рискованную шутку. На одной из подобных вечеринок фон Том рассказывал забавный охотничий анекдот, а не знакомый с ним лично Пушкин пошутил: "Который том: первый, второй или третий?". По-настоящему остро эту можно оценить, если знать, что у Тома было два сына, примерно одних с Пушкиным лет...

Годившийся "диссиденту" в отцы, старина Том нисколько не обиделся — он не только сам умел каламбурить, но понимал и принимал остроты, адресованные ему самому. Смущенный Пушкин подошел к почтенному консулу с извинениями, однако встретил такое дружеское участие, какого не ожидал. Несмотря на солидную разницу в возрасте, они стали добрыми приятелями, поэт потянулся к уникальному добряку и жизнелюбу. Сохранились вполне определенные достоверные свидетельства их взаимной симпатии, приязни, дружеских отношений. Так, мемуаристы повествуют о том, как Пушкин гостил на хуторе фон Тома в Дальнике. Один из проведенных там дней детально описан Ф.Ф. Вигелем. Несомненно, посещал Пушкин и городской дом австрийского консула, находившийся в самом центре, на пересечении современной Преображенской и Малого (тогда — Казарменного!) переулков — на этом месте в конце 1930-х выстроен дом для работников морского транспорта. Собственно говоря, в 1820-х тут был целый комплекс довольно солидных строений.

Кое-что известно даже о внешнем облике нашего героя. Так, вспоминая наиболее яркие эпизоды детства, племянник основателя Одессы, М.Ф. Дерibas, пишет: "В глубине комнаты замечаю многих незнакомых мне лиц в блестящих мундирах. Один из них, в красном мундире, более всех прочих поразил меня (это был австрийский консул фон Том)". Известно также, что добрейшей души человек, фон Том часто приходил на помощь горожанам, оказавшимся в затруднительной ситуации. В те годы, например, возникали сложности с получением загранпаспор-

тов, и тогда австрийский консул оказывал бескорыстное содействие многим. А между тем такое его "легкомысленное поведение" осуждалось в "высочайшем замечании одесскому градоначальнику А.Д. Гурьеву".

Казалось бы, мы так много знаем о фон Томе: ведь далеко не каждый, даже куда более масштабный исторический персонаж оставил по себе столько документальных свидетельств. И вопреки этой обманчивой очевидности, мы не знаем о нем почти ничего. Сколько архивных документов пушкинской эпохи в свое время прошло через мои руки! И представьте, ни в одном из них не упоминается даже имя австрийского консула! В чем же тут дело?

Анализируя различные материалы, я пришел к заключению, что не только пушкинский каламбур, но сама жизнь "перепутала все тома". Разыскания показали, что дело отца со временем оказалось в руках сына, исполнявшего обязанности австрийского консула в Одессе в 1834-1845 годах. И вот это как раз и был ВТОРОЙ ТОМ. Имя этого Тома известно — Карл. В одном из старых справочников как бы открылось и отчество: Самойлович или Самфилович. Странное, прямо скажем, имя для австрийского дворянина...

О чем я в течение многих лет мечтал, так это о том, чтобы получить доступ к ретроспективной консульской переписке из архива МИД Австрии. Грезить мне, естественно, никто не возбранял. И все же чудеса случаются. Возможность достучаться до австрийской столицы открылась неожиданно (а о наличии там кое-каких "одесских реляций", составленных фон Томом, говорила моя дорогая подруга Патрисия Херлихи — автор единственной, по сути, монографии по истории нашего города, 1794-1914). Помочь вызвалась другая моя замечательная подруга — Сюзанна Накатен, блестящий историк из Трира. В результате всевозможных приключений удалось получить любопытнейшую информацию, позволяющую основательно дополнить живыми красками портрет нашего славного одесского балагура, окончательно с ним "разобраться".

Начнем с печального. Интересующая нас консульская переписка в полном объеме в Вене не обнаружена. Суть дела в том, что в лихорадке первой мировой и гражданской войн австрийское консульство в Одессе не было ликвидировано, так сказать, регулярно. Где теперь находится его архив, неведомо, хотя не исключено, что какая-то часть могла оказаться в одном из центральных архивов — скажем, архиве МИД СССР. Зато в Вене имеется целый ряд документов, с одной стороны, характеризующих фон Тома как личность, а с другой — прямо относящихся к исполнению им консульских обязанностей. Вторая часть этого корпуса документов, несомненно, преинтересна, ибо дает срез истории Одессы на протяжении более четверти века: с 1804 по 1830 годы. Но это тема отдельного обстоятельного разговора, а сейчас нас занимает скорее феномен личности "подозреваемого", или "подзащитного" — как хотите...

Главным консультантом Сюзанны Накатен в Венском архиве был доктор Эрнст Петрич — не только великолепный специалист, но и обаятельный, любезный, готовый оказать содействие человеку. Итак, архивные документы свидетельствуют: Христиан Самуил фон Том был "привилегированным в Вене оптовиком". Вместе с братом, Андреасом Готтлибом фон Томом, они удостоились рыцарства, то есть дворянства, в 1789 году. Фон Том был консулом сначала в Херсоне, а с 1804 года — в Одессе. В 1816 году награжден рыцарским крестом Леопольдского Ордена. Ушел в отставку, так сказать, по собственному желанию в 1830 году, а скончался в Одессе 1 января 1840-го. Карл фон Том наследовал отцу в 1834-м, а прежде служил консульским канцлером. В 1830-1834 годах в Одессе консультировал Казимир фон Тимони.

Что же кроется за этими сухими строками? Мои слишком смелые предположения полностью подтверждены и обоснованы немецким и австрийскими специалистами. Многие карты раскрывают обстоятельство, что фон Томы не зафиксированы

Хижина дяди... Бейзерта

1 июня 1926 г. в газете "Известия одесского окружкома КП(б)У, окружкома и ОПБ" был напечатан фельетон "Хижина дяди... Бейзерта" известного одесского журналиста Бориса Давидовича Флита, который в старые времена подписывался псевдонимом Незнакомец, в советские — Д. Маллори, и остался в романе И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" под псевдонимами соответственно Принц Датский и Маховик. Принято считать, что газета живет один день. Но, как изъяснялись в старину, ласкаю себя надеждой, что нынешняя публикация фельетона несколько продлит и этот день и память о людях, достойных памяти.

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ



Борис Флит (Д. Маллори)

"А я люблю негрятенок", — говорил персонаж Л. Андреева. (1) Дело вкуса. Это было во времена общественного упадка, поисков экзотики и эмпирики.

Но почему теперь в Советской стране столь возлюбили "шоколадных ребят", хоть убейте, не понимаю! "А я люблю негрятенок!" — это, конечно, болезнь. Но "А мы любим негров и джаз-банд", это уже — извините — эпидемия!

"Хижина дяди Бейзерта" в Воронцовском саду полна звуков негрятенских джазбандов и фокстротов. (2) Хорошо это или плохо, — об этом скажут рецензенты. Мнение публики различно. Известный писатель Бабель

улыбается, очки его сверкают, и он яростно спорит с музыкантом "классиком". (3)

"Почему "Аида" искусство, а вот эти фокстроты не искусство?"

Писатель с таким увлечением защищает искусство негров, что известный врач вполне верит мне, когда на его вопрос "Кто этот симпатичный молодой человек?" я отвечаю: "Это? Бабель! Не слышали?"

"Бабель? Администратор негров?" Я готов ударить доктора, но решаюсь, говорю: "Вот именно администратор! Попросите у него контрамарку".

Вот она Одесса! Бабеля не знает, но негров обожает!

Впрочем, сам Бабель продолжает эту мистификацию. Он не отрицает, что он "тут администратор в саду". Относительно контрамарки — отнекивается: "Я не выдаю!".

И даже, едва сдерживая хохот, объявляет, что "за устройство получает 30 рублей в вечер"...

Его милое, немного киргизское лицо расплывается в улыбку до ушей. Он отбегает в сторону и хохочет истерически.

А доктор говорит мне: "Какой милый администратор. Удивительно, как я его не знаю..."

"И знаете, почему создается такая шутка, такое легкое настроение? — говорит мне потом Бабель. — От джаз-банды. "И еще от запаха акции!" — вторю ему я, с любовью глядя на нашего Бабеля.

"Шантан! Но я люблю шантан! — восторженно отзывается

толстый зубной врач. — Я даже свое высшее образование получил в "Северном" (4) в свое время..."

"Мистификация! Двое совсем не черные".

"А вам что — чернота важна? Так послушайте ваку".

"Они и поют? Только у них голоса хороши только для ударных инструментов. Так и хочется ударить".

"А вы видели "мима"?"

"Какое мим? Прямо перед нами, а вы говорите мим?"

"Я себя чувствую какой-то "Ханчей в Америке"... (5)

"Скорее в Африке: на сцене негры, в публике арапы..."

"Нет, вы смотрите, как этот барабанщик работает. 2000 движений в секунду".

"Это он по ноту".

"Нет, на память..."

"Сара, не смотри на этого толстого, который за пианино. Не смотри, я тебя прошу. Ты же должна разрешиться..."

Негры становятся в ряд и мяукают по-кошачьи: это выходит довольно музыкально.

Сзади меня говорит какой-то нэпман: "Мамочка, я чувствую, что мы переносимся в Европу. Совсем как в Париже..."

Внизу шумит море, светятся огни порта... грузятся пароходы.

Д. Маллори

1. Рассказ Л. Андреева "Оригинальный человек".

2. Генри Вальдемарсен (Генрих Владимирович) Бейзерт был директором "Сада-театра бывш. Воронцовского дворца", который располагался внизу Приморского бульвара в "Лунном парке", как называли это место одесситы. 29 мая — 4 июня 1926 г. в саду-театре с огромным успехом проходили гастроли американских джазовых исполнителей, о которых знаменитый дирижер И. В. Прибик писал, что "они удивительные виртуозы, с исключительным мастерством владеющие своими инструментами".

3. Исаак Эммануилович Бабель, к тому времени автор четырех книг рассказов и отдельно изданной "Конармии", приехал в Одессу 26 мая 1926 г.

4. Фешенебельный кафе-шантан во дворе дома № 12 в Театральном (ныне — Чайковского) пер.

5. Девушка работница — персонаж оперетты Ракова и Румшинского "Ханче ин Америке" ("Ханче в Америке") — в исполнении известной артистки еврейского театра оперетты, эстрады Клары Юнг.



Генри Бейзерт



Исаак Бабель

Эвелина ШАЦ

Проеміо, или Возможное не

1

Я — не еврейка: ни по религии ни по традиции ни по воспитанию ни по культуре разве что только по преследованию

Я — не немка: ни по отечеству ни по традиции ни по родом разве что только по дозе лингвистического участия то есть культуры а значит — истории и в этом случае тоже по преследованию

Я — не американка разве что только по рождению в Филадельфии моей матери и по бесконечному обаянию города Нью-Йорка

2

Я — не венгерка, ну... может быть совсем чуть-чуть: внешне некая взрывная смесь цыганского и еврейского: волосы рыжие, кожа молочно-белая-веснушчатая, но главное — характер: пирожеральный и неистовый, цирковой наездницы и бедуйна: этим последним качеством кочевой сосредоточенности отличалась моя бабушка венгерка.

Я — не австрийка, разве что только по вос-

питанию австро-венгерскому: империя мелкобуржуазная, но еще дисциплинированная, а значит, вполне королевская: дисциплина воспитания, а не принуждения, присуща великим имперским цивилизациям. Последняя была уже пре-демократической.

Я — не русская. Если бы я не была ею кардинально, своей манерой быть, философией родного, то бишь эмоционального пейзажа, принадлежностью к определенной материнской утробе — суть язык русский (культура) со своим необъятным комплексом славяно / персидско / монголо / турецко / китайско / кочевнической и прочей части Европы. Разве этого так мало, быть русским?!

Я — не итальянка. Если итальянский не был бы вторым чревом, избранным, желанным. Рационализирующим мою русскую иррациональную манеру быть: некая графическая структура моей анархической непринужденности.

И, наконец, — рукопажная, в которой собственная свобода утверждает себя в ожесточенной схватке с принуждением власти имперской или с демократическим низведением к посредственности. Влияния всегда взаимны по закону противодействий, утомительному, но, надеюсь, конструктивному...

Вечно тоскующая по родному языку — Поэзии.

3

Я — не художник — иные науки и прочие ремесла, — если бы только не жила я и не дышала искусством с тех пор, как помню себя, и еще потому, что в венах моих штормом плещется кровь двух творителей, двух чужестранцев: встреча / столкновение родителей

у самого Черного моря, там, где Восток встречается с Западом, а море — море схлестнулось со степью, наделяя меня двойным зрением кочевника.

Я — не ученый и не философ, если бы не была рождена и не была баюкана шаманским камланием и аполлонским духом Ольвии-Одессы, — детство на море среди глиняных дощечек, исписанных мистериальной гераклитовой мудростью; быстрый бег родных мест, пока я умирала... Сократ — уже больше не совершенное божество, и даже Чжуан-цзы не тревожит мое Ничто, пока я умирала... танцующая с Гераклитом, озвучивая Парменида и воспевая в расстраниченном многообразии пространства пустоту, что вовсе не суть Пoэта.

Я — не поэт, если бы не подпольная деятельность в авторском самиздате, требующая лихорадочной неустанной работы, пока стихи не станут чем-то вроде второй природы, необходимой для продолжения жизненных функций.

Я — не поэт, если бы не писала "И звездная материя — каннибальна", так вот, когда ребята одной сицилийской школы решили, что это слова Данте (в то время как я была просто художником, хотя, пожалуй, не только), так вот, их высокая ошибка меня настолько убедила, что с тех пор, шагая по миру, повторяю: Я — Поэт.

Между *poena insularis** и ризоматическими расстояниями — стансы Эвелины.

* (Лат.) — наказание островом, ссылка на остров